

# БЕСЕДА ПЕРВАЯ

12 ноября 1980 г.

— Когда вы, Коля, попросили меня рассказать о наиболее запомнившихся мне эпизодах из жизни психологов и вообще что-нибудь про психологию, а я несколько неосторожно согласился, то я и не мог предполагать, что дело это будет для меня столь сложным и проблематичным.

Дело в том, что история науки, [история] философии имеют два сложных и не очень-то связанных между собой пласта. С одной стороны, это жизнь идей, которая, конечно же, разворачивается через людей — в обсуждениях, в книгах, которые ими написаны, в исследованиях, в борьбе, которую можно наблюдать на всех научных совещаниях и вокруг них, а с другой — это жизнь людей, их коммунальные отношения, их поведение, их действия, ориентации, цели, корысть. И, по моему глубокому убеждению, эти два плана, или два пласта, как-то очень сложно связаны друг с другом.

Поэтому когда я начал думать, а что я, собственно, должен, могу вам рассказать по теме «История психологов и история психологии», то вдруг неожиданно для себя обнаружил, что я должен либо обсуждать историю развития идей, в частности в той области, где я работал, то есть на стыке философии, методологии, с одной стороны, и психологии — с другой, — но тогда не нужны воспоминания, тогда это должно быть результатом какого-то специального исторического анализа, специальной исторической реконструкции; либо же нужно отставить в сторону этот план развития идей, точнее жизни людей в идеях и через них, — но тогда остаются какие-то анекдотические истории, какая-то ерунда, которую, в общем-то, и неловко как-то рассказывать.

И чем больше я размышлял на эту тему, тем более странным казалось положение, в которое я попал, поскольку для меня, как и для всякого человека, тут очень значимы мои симпатии, антипатии,



Пётр Алексеевич Шеварёв

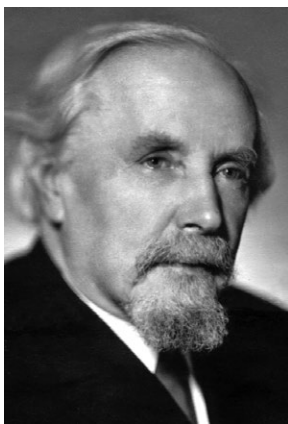
ненависть, любовь к каким-то людям. Вроде бы и неловко, и совестно рассказывать про ненависть свою или про анекдотические стороны жизни других людей. Но ведь если отставить в сторону жизнь идей и их драматическую борьбу, то что же еще остается рассказывать?! И это, должен я признаться, привело меня в некоторое замешательство, заставило взглянуть на прожитые годы уже под новым углом зрения и задать себе вопрос: как же так получается? И что, собственно, оставляет в нас такие эмоции, а что, наоборот, принадлежит сугубо сфере разума, другому миру, миру развития идей?

И, отвечая себе на этот вопрос, я пришел в каком-то смысле к очень печальному выводу: мне, в общем-то, не повезло на встречи с подлинными людьми науки. Подлинных людей науки, чья личная жизнь сливается в принципе с жизнью науки, с исследовательской деятельностью, — таких людей в моей жизни было всего несколько: если пять, то это хорошо. Я сейчас говорю о людях старшего поколения, о тех, у кого мы все учились.

К числу таких людей я отношу Пётра Алексеевича Шеварёва: он, безусловно, оказал на меня очень большое влияние в чисто личностном, человеческом плане. Я отнес бы к таким людям и Николая Федоровича Добрынина. По моему внутреннему ощущению, к ним относился и Сергей Леонидович Рубинштейн, с которым я встречался лишь несколько раз. Ну вот, наверное, и все. Во всяком случае, из мира психологии. А все остальные жили, в общем-то, не жизнью науки: она, конечно, существовала для них, но была второстепенной.

Я уже сказал, что, по-видимому, только настоящие, подлинные ученые живут так, что каждое их действие, каждый поступок, каждая мысль действительно погружены в мир идей. А остальные живут *вокруг* науки — по законам социальных отношений, социальных взаимодействий, по законам политики, и, собственно говоря, именно это я и наблюдал постоянно.

Вот что запоминалось и удивляло, точнее *заставляло* все время удивляться тому, что происходит: вся та жизнь, с которой я стал кивался в психологии, около психологии, поворачивалась какими-то странными анекдотическими сторонами, и эти анекдотические стороны действительно запоминались и были значимыми, а вот жизни



Николай Федорович Добрынин

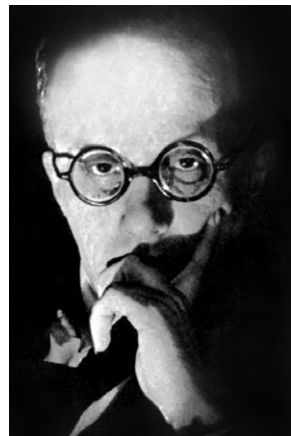
идей, их воплощения через людей я просто не наблюдал или наблюдал предельно редко.

Тут возникает много сложных проблем, требующих какого-то специального обдумывания в житейском плане, с одной стороны, и в научном — с другой. И я сейчас в принципе не готов обсуждать это по-настоящему и всерьез, но понимаю одно: конечно, занятия наукой есть жизненная борьба, а поэтому занятие наукой немислимо без участия в политике, и ученый вынужден жить политической жизнью. Если он устранился от нее, то, во-первых, он становится нежизнеспособным, а во-вторых (я в этом глубоко убежден), его собственно научные размышления, круг его идей становятся также нежизненными. Поэтому все, о чем я выше сказал, ни в коем случае не следует понимать так, что я отрицаю значение социально-политической жизни и вообще участия в борьбе — уже не идей, а собственно в человеческой борьбе, в столкновении групп. Отнюдь. Но, стремясь осмыслить собственный опыт, я понял одну важную вещь: люди, подчинившие свою жизнь политическим ценностям и целям, перестают заниматься наукой.

Настоящий ученый тоже не может выйти из политических отношений. Причем я все время имею в виду не какую-то высокую идеологию, высокую политику — международную или, скажем, классовую, — а политику внутри малых человеческих коллективов. Ученый не может выйти из них и остаться ученым, но рок его, крест, который он должен вроде бы нести, состоит в том, чтобы, живя в этих социальных, политических отношениях, всегда подчинять их целям и задачам развития научного знания.

Большой ученый никогда не жертвует научной истиной (не надо бояться этих «громких» слов) ради каких-то там конкретных ситуаций. Наоборот, проходя через них, он все время думает об одном: как в сложившихся ситуациях сохранить и прояснить эту самую научную истину?

И вот таких людей, повторяю еще раз, я встретил в мире психологии очень мало, невероятно мало. Все остальные подчинили научный поиск, научное исследование коммунальным, социальным, политическим ситуациям и практически в очень многих и многих случаях только делали вид, что их интересуют научные идеи, научные истины, а на самом деле занимались мелкой политикой, политиканством. И многие настолько входили в эту роль, что начинали получать удовольствие от самой имитации науки, связав ее с политической



Сергей Леонидович  
Рубинштейн

жизнью, с ее ситуационными, чисто конъюнктурными изменениями. Поэтому-то мне в глаза бросался чисто комический, крайне гротескный, пародийный даже (наверное, так точнее) характер их действий, поступков, суждений, оценок.

И вот так, вглядываясь ретроспективно в открывающуюся панораму, я, еще раз повторяю, с некоторым удивлением для себя вдруг увидел, что в памяти моей сохраняются, вызывают определенное эмоциональное отношение лишь эти анекдотические эпизоды, или стороны, которые для меня и есть характеристика смысла многого из того, что происходило, если отвлечься от мира идей. Но, может быть, это и характеристика меня самого. Может быть, вот так, через такую призму я вижу, так у меня получается...

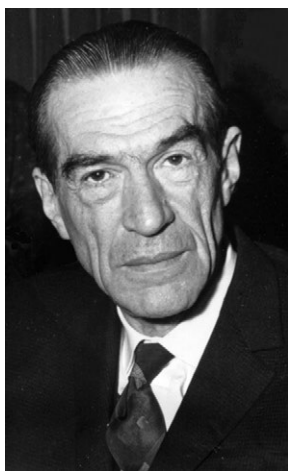
Расскажу о некоторых эпизодах, которые кажутся мне значимыми и сыграли определенную (как правило, важную) роль в формировании моего отношения к науке и жизни.

Я не буду сейчас рассказывать об обстановке на философском факультете Московского университета в 1949 году, когда я туда впервые попал<sup>1</sup>. Это тема для особого разговора, и, может быть, для нее еще не наступило время<sup>2</sup>. Поэтому в моем рассказе будет определенный пробел — в смысле фона, панорамы, — но вам придется с этим мириться.

Я вспоминаю здесь свое первое знакомство с Алексеем Николаевичем Леонтьевым, которое произошло где-то в 1950 или в 1951 году. Он читал нам, нашему курсу, цикл лекций по психологии. Я выдержал первые две лекции и больше уже не ходил. Темой его первых лекций была «Природа психики». И он начал рассказывать про сеченовскую схему рефлекса<sup>3</sup>, про те вариации, которые внес в эти представления Асратян. По его мысли, психика — это третья, интериоризованная выходная реакция, то есть эффекторная часть рефлекса, которая сокращена, усечена.

И вот в течение двух часов он с большим пафосом, с постоянной прищипкой «не правда ли?» топтался на этой жалкой, тощей идее, и при этом сама идея казалась мне высосанной из пальца, совершенно надуманной, не имеющей отношения ни к психическим процессам, ни к психологии человека, ни к теоретическим схемам — сугубо конъюнктурной.

Дело в том, что прошла павловская сессия<sup>4</sup>, было решено базировать психологию на физиологических основаниях, но (и это я уже хорошо знал) происшедшее не было чем-то внешним для Алексея



Алексей Николаевич  
Леонтьев

Николаевича. Потому что если бы это была просто «обязаловка», то... ну, сказал пару слов, как полагается, и перешел к делу. Нет, он вошел в роль и, так сказать, имитировал перед нами псевдонаучные движения, рассуждения, движение мысли... Потом я узнал, что все это он написал еще до войны.

— Так это, значит, его точка зрения?

— Понимаете, на мой взгляд, у Алексея Николаевича вообще не было его точек зрения. Дело в том, что он принял на себя определенную роль и играл, наслаждаясь исполнением роли. Он не проговаривал то, что требуется, — сказал, отметился и пошел дальше, — нет, он действительно входил в роль и ее разыгрывал. Конечно, многое надо было разыгрывать в те годы (да и сейчас, наверное, тоже... впрочем, как и всегда), но он это делал не как человек, которого обязали, — он делал это от души. И поэтому в моем сознании того времени он запечатлелся как человек конъюнктурный, с одной стороны, и как актер и имитатор — с другой, а предмет его имитации показался мне совершенно ерундовым. Я для контроля посидел еще одну лекцию, а когда увидел, что все идет в том же духе, ушел и, пользуясь своим положением (я был председателем спорткомитета факультета и отцом семейства), больше на лекции по психологии не ходил.

Вторая моя встреча с Алексеем Николаевичем Леонтьевым произошла в январе 1954 года на заседании ученого совета философского факультета: он защищал кандидатскую диссертацию NN. Темой работы было формирование или развитие понятий. И одну свою главу он целиком списал с моей дипломной работы<sup>5</sup> — просто один к одному, без ссылок. Это не значит, что так было принято в то время на философском факультете, просто NN был таким человеком. Он много пишет сейчас о нравственности, морали, высоком звании ученого — как на историко-научном материале, так и на нынешнем.

Александр Зиновьев предупредил NN, что если не будет ссылок, то он на защите выступит и скажет, что это плагиат. В конце концов, в диссертации тушью внизу было в нескольких местах приписано, что использованы материалы моей дипломной работы. И чтобы окончательно оградить себя от обвинений в плагиате, NN попросил меня выступить. Я тогда согласился и поддержал его. У меня до сих пор хранятся текст моего выступления и более поздняя запись по поводу подобных ситуаций вообще. Я впервые написал тогда себе, или для себя, что, во-первых, нельзя быть добреньким, а во-вторых, нельзя никогда, исходя из конъюнктурных соображений и ситуаций, нарушать некоторые общечеловеческие, краеугольные нормы и принципы. И если ты не уважаешь человека, то никогда не следует говорить, что он сделал хорошую работу, какими бы другими соображениями

ты ни руководствовался. Это вовсе не значит, что я всегда неуклонно следовал этому принципу. Я просто сейчас говорю о тех размышлениях, которые сопутствовали каким-то действиям, поступкам.

Короче говоря, на защите я выступил, рассказывал о схемах образования понятий — таких понятий, как «масса», «скорость» и другие, — и вдруг после моего выступления встал Алексей Николаевич и сказал, что у них на кафедре психологии ведутся аналогичные исследования, получены очень похожие результаты и что этим занимаются Василий Давыдов, Неля\* Непомнящая и другие.

Сам по себе рассказ Алексея Николаевича не вызвал у меня никакого энтузиазма в содержательном плане, но стал своего рода неожиданностью. Потому что хотя и Василий Давыдов, и Неля Непомнящая были моими однокурсниками (а Давыдова я знал, поскольку он был членом бюро комитета комсомола нашего курса и у меня с ним были в предшествующие годы обучения официальные контакты), но тем не менее я не знал, чем они занимаются, поскольку психологическая группа и психологическое отделение были как-то на отшибе от основного философского отделения.

Рассказ Алексея Николаевича о том, что Давыдов, Непомнящая и другие занимаются сходной проблематикой, заставил меня ближе познакомиться с Давыдовым, и в феврале или марте мы с ним встретились и начали обсуждать проблемы образования понятий, что, собственно, и стало начальной точкой, с одной стороны, всего моего дальнейшего интереса к психологическим исследованиям в этой области, а с другой — той связи психологических и логических исследований сферы мышления, которая нами потом создавалась, крепилась и существует до сегодняшнего дня...

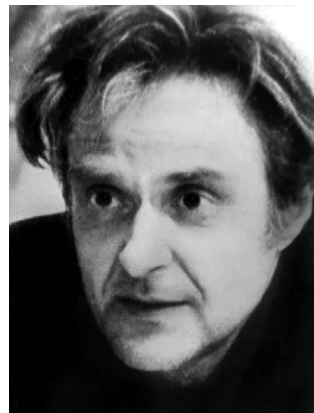
А вот здесь мне придется чуть уйти в сторону и коснуться общей атмосферы, царившей в то время на философском факультете, и рассказать о людях, которые тогда задавали и определяли эту атмосферу и вообще весь внешний облик жизни факультета, во всяком случае в области духовных исканий.

На самом философском факультете к этому времени уже сложились и существовали две четко сознававшие себя группы. Это группа Эвальда Ильенкова — группа, в общем-то, неогегельянского толка, ее работы зиждились на принципе тождества бытия и мышления, и этим определялось все, — и группа Александра Зиновьева, которая отрицала принцип тождества бытия и мышления и исходила из достаточно жесткого и четкого противопоставления, с одной стороны, мира бытия, а с другой — мира мышления.

---

\* Так называли Нинель Непомнящую ее друзья и коллеги.

Детальное философское, методологическое обсуждение различия двух этих направлений требует совсем другого контекста; это различие действительно очень серьезно и своими корнями уходит в довольно далекую традицию развития самой философии, ну, скажем, к младогегельянцам. Это, как я теперь понимаю, было своего рода воспроизведение на почве философского факультета МГУ той коллизии, которая разворачивалась в немецкой философии на стыке фейербаховского и постфейербаховского гегельянства, то есть в период формирования марксизма.



Вообще-то это смешно с какой-то стороны, Эвальд Ильенков но сама подобная ситуация искусственно воссоздавалась и поддерживалась многими профессорами философского факультета. В частности, классической для того времени была работа Теодора Ильича Ойзермана о формировании марксизма, о раннем марксизме и дальнейшем движении, и она в каком-то смысле задавала рамку и фон того, что разворачивалось в тот момент на философском факультете<sup>6</sup>. В этом плане я бы сказал (это моя субъективная точка зрения), что Эвальд Ильенков воспроизводил гегельянский марксизм, тогда как Александр Зиновьев воспроизводил — практически сам того не зная, не понимая — результаты всей неокантианской традиции, своего рода влияние на марксистские представления методологического неокантианства. Вот так бы я сейчас оценил происходившее тогда.

Там, конечно, было много наивного, но были какие-то глубокие парадоксальные моменты в самой ситуации, и она имела свой внутренний смысл для развития. Поэтому сложившаяся оппозиция была фактически очень жизненной. И все те, кто так или иначе искал смысл в философии и пытался развивать философию, формировать содержание философского анализа, примыкали к одной из этих двух групп: либо к группе Ильенкова, либо к группе Зиновьева.

Но при этом обе группы жили единой, очень тесной жизнью, то есть это не была жизнь двух коллективов, сформированных в оппозиции друг к другу. Это был один коллектив людей, которые внутренне, скорее по своим ориентациям, примыкали к одной группе или к другой, или, точнее, были ориентированы одни туда, другие сюда, и обсуждали они на самом деле одну и ту же проблематику — Марксов «Капитал» и метод восхождения от абстрактного к конкретному. Поэтому и кандидатская диссертация Эвальда Васильевича Ильенкова<sup>7</sup>, и кандидатская диссертация Александра Александровича Зиновьева<sup>8</sup>

были посвящены методу восхождения от абстрактного к конкретному и диалектике абстрактного и конкретного. Здесь, собственно, и развертывались дискуссии.

Василий Васильевич Давыдов принадлежал к числу ближайших друзей Ильенкова и, таким образом, попадал в мир философии, философского развития; его занятия психологией были для него тогда скорее факультативными. И для меня психология точно так же была чем-то лежащим на периферии. Поэтому наши дальнейшие контакты с Давыдовым шли скорее по философской, нежели по психологической линии.

Мы часто фланировали по улице Горького<sup>9</sup> и по прилегающим к Пушкинской площади бульварам. Это всегда была компания в пять, шесть или восемь человек (например, Карл Кантор, Борис Шрагин, Александр Субботин, Борис Грушин, Эвальд Ильенков, Александр Зиновьев, Василий Давыдов, я — вот одна из таких комбинаций), которая могла, скажем, собраться в два часа дня и до вечера дви-



Василий Давыдов

гаться по московским улицам, где-то оседать: либо в пивном баре номер один на улице Горького, либо в пивном баре в Столешниковом переулке, или доходить до Кировской<sup>10</sup>, или идти еще куда-то. И вот именно здесь, в этом постоянном движении, оттачивались оппозиции, мысли.

Мы приходили часто домой к Эвальду Ильенкову (он жил на углу проезда Художественного театра<sup>11</sup> — прямо напротив Центрального телеграфа, на улице Горького, во дворе).

Он ставил нам немецкие пластинки, которые ему привозили. Это были Рихард Штраус, Вагнер, которого Эвальд Васильевич очень любил. Мы слушали их, все время что-то обсуждая и споря, но всегда очень дружески.

Так, с Давыдовым мы обсуждали философско-психологические проблемы. Я хорошо помню наш очень большой разговор о взглядах Спинозы (тогда я еще не знал, что у Выготского была работа о Спинозе<sup>12</sup>, а Давыдов знал). Василий Васильевич был спинозистом, и его взгляды представляли собой удивительную смесь гегельянства со спинозизмом, которая, собственно говоря, и трактовалась [им] как современный марксизм, как основания и истоки марксизма.

Вот совсем недавно в свой обзор материалов первого совещания Комиссии по логике и психологии мышления<sup>13</sup> Василий Васильевич



вставил слова об особой значимости взглядов Спинозы для развития всей этой проблематики, сохранив, таким образом, свои исходные идеи до сих пор.

Я очень хорошо сейчас помню наш разговор в метро, который продолжался часов пять. Мы ездили с одной станции метро на другую, выходили где-нибудь, скажем, на площади Маяковского или на площади Свердлова<sup>14</sup> и полчаса гуляли по всем переходам. Дело было зимой, и на улице было очень холодно.

В этот момент на философском факультете проходили две очень важные для развития философии в Советском Союзе дискуссии: одна — по проблемам логики (декабрь 1953 — март 1954), а другая — так называемая гносеологическая дискуссия (апрель — май 1954).

— *Кто еще из молодых философов или психологов был в группах Ильенкова и Зиновьева? И осознавали ли они сами, что разбиты на группы?*

— Конечно, осознавали. Оппозиция Ильенков/Зиновьев, или Зиновьев/Ильенков, была изначальной, а потом она разветвлялась, вовлекая много разных людей.

— *Почему Ильенков и Зиновьев? Это связано с возрастом?*

— Возрастной момент очень важен... А насчет того, кто куда входил, я потом скажу.

Я совсем не буду останавливаться на логической дискуссии 1953–1954 годов, тем более что я о ней неоднократно рассказывал. Это более или менее записано, более или менее известно, а вот про дискуссию апреля — мая 1954 года следует рассказать.

Дискуссия эта началась по заказу Теодора Ильича Ойзермана. Он был тогда фактически самым прогрессивным профессором на философском факультете, пользовался большим уважением и был очень влиятелен. Как, кстати, и сейчас, почти 30 лет спустя.

Он взял на свою кафедру двух молодых преподавателей: уже получившего степень кандидата философских наук, географа и геолога в прошлом, Валентина Коровикова (он теперь спецкор в Африке то ли «Известий», то ли какой-то другой газеты) и Эвальда Ильенкова, только что завершившего свою кандидатскую диссертацию (он защищался где-то в 1953 году). Коровиков находился под большим влиянием Ильенкова, и вот они вместе и образовали первый тандем на факультете.

Теодор Ильич попросил их написать тезисы о соотношении философии и естествознания. Коровиков и Ильенков написали такие тезисы — они ходили в списках по факультету. Затем открылось совещание, на котором исходный доклад делал Коровиков, а потом началась дискуссия.

Первоначально Теодор Ильич покровительствовал Ильенкову и Коровикову, все как бы происходило с его благословения, и первоначально тематика эта была, как казалось, сугубо академической и внешне не затрагивала ситуацию, которая сложилась на факультете и вообще в Советском Союзе.

Но время было невероятно напряженным: шел первый год после смерти Сталина<sup>15</sup>. На философском факультете вообще многое происходило раньше, и он первым тогда, в те годы, реагировал на события политической жизни. Борьба против культа Сталина началась практически сразу же после его смерти, то есть с конца 1953 года. Все мы тогда чувствовали новые веяния, так или иначе способствуя их превращению в реальную практику другой жизни. Поэтому тезисы, написанные Коровиковым и Ильенковым, рассматривались и трактовались как манифест новой философии, философии «молодых», противопоставленной философии «старых».

Этот момент сразу же отразился в расстановке и консолидации людей, в приятии или неприятии ими тезисов Ильенкова и Коровикова, в определении своего отношения. Это была дискуссия, в которой молодое поколение преподавателей, аспирантов и студентов философского факультета объединилось в своем отношении к старшему поколению.

Смысл происходившего тогда состоял в том, что нельзя было продолжать философствовать прежними методами и в прежнем стиле — нужна была новая, реальная, живая философия. И один раз эта тематика уже прозвучала на предшествовавшем совещании по логике, где завязалась дискуссия с острым столкновением, по сути дела, трех направлений. Я уже рассказывал как-то, что именно на этом совещании было впервые декларировано существование нового направления в теории познающего мышления — направления, которое позднее оформилось как содержательно-генетическая логика<sup>16</sup>, а тогда трактовалось как новая диалектическая логика. Новая — в противоположность той старой диалектической логике, которую представляли преподаватели факультета Черкесов, Мальцев, Никитин и другие.

На этом, втором совещании был поднят еще более важный, более широкий и принципиальный вопрос — о взаимоотношениях между философией и естествознанием, то есть фактически между философией и наукой. Основной тезис Ильенкова и Коровикова состоял в том, что предмет философии есть познание, а не мир. Я здесь воспроизвожу основную формулировку дословно: *предмет философии есть познание, а не мир*. Поэтому в дальнейшем, и в частности в партийной печати, в «Коммунисте»<sup>17</sup>, это движение получило название «движение гносеологов».

Сначала дискуссия проходила вроде бы академически, выступали люди — одни, другие — с большими речами. Причем форма была такая: собирались раз в неделю, это было нечто вроде расширенного заседания кафедры и факультетского ученого совета, и там шла длинная дискуссия из недели в неделю. И вдруг перед самыми майскими праздниками произошел резкий поворот... Теодор Ильич встал и сказал, что дискуссию надо заканчивать, желающих выступать больше нет. Сказал, имея перед собой груды записок с заявками на выступление.

— *Чем же было вызвано такое? Чего он испугался?*

— Он испугался окрика из ЦК<sup>18</sup>. Тогда кто-то познакомился с материалами дискуссии и с самими тезисами и кого-то там познакомили с тем, что происходит на философском факультете. Но тут вся суть состояла не в том, что кто-то познакомился, а, скорее, в том, что кто-то из «старых» особым образом, тенденциозно знакомил работников из аппарата ЦК партии с тем, что происходило на факультете. Последовало соответствующее внушение. Теодору Ильичу, наверное, погрозили пальцем и сказали, видимо, что этого ему так не оставят и не простят...

Надо сказать, что философский факультет тех лет (конец 1953–1955 годов) — это вообще бурлящее море. Дискуссии сменяли одна другую, происходили обсуждения, где молодое и старое поколения сталкивались в ожесточеннейшей, может быть, даже смертельной схватке. Смертельной, естественно, для старшего поколения, поскольку оно могло ее не выдержать.

Тогда, кстати, возникла смешная легенда, что я убил профессора Трахтенберга. Дискуссии были действительно острые... Профессор выступал по поводу диалектики, утверждая, что противоречия обнаруживаются в каждой вещи, а мне пришлось говорить после него, и я тогда вытащил монетку и попросил показать мне, где в этой вещи противоречие, разворачивающее ее. Такая трактовка «вещи», про которую он говорил, и требование вскрыть противоречие в реальности были для Трахтенберга совершеннейшей несуразностью. Он не был к этому в принципе готов. А пример был невероятно простой и наглядный, поэтому зал и хохотал. Это было очень обидно старому, заслуженному профессору, который читал на латинском языке средневековых философов... Ну, злые языки и говорили, что у него из-за происшедшего случился инфаркт и он умер, когда приехал домой<sup>19</sup>. Я это рассказываю просто для того, чтобы показать, насколько тогдашние дискуссии были витальными.

Итак, постоянно шли дискуссии, факультет бурлил, может быть, как никогда потом. Потому что потом уже никогда не повторилось это исключительно богатое время. Я думаю, что в тот момент философский факультет обладал очень высоким для нашей страны

интеллектуальным потенциалом, требующим выхода. Ему было тесно в факультетских рамках, и то, что там происходило на уровне идей, имело действительно всесоюзное значение в смысле определения направления идеологической жизни, появления областей новых работ и т. д. Много в то время было интересных, глубоких, по-своему мыслящих людей, и они очень остро все это переживали и обсуждали. Было много нерешенных, накопившихся за прошлые десятилетия, просто даже никак и никогда не обсуждавшихся проблем. И все выплеснулось после смерти Сталина...

Итак, по-видимому, Ойзерману кто-то пригрозил, поскольку он решил все происходившее свернуть и заявил, что нет больше желающих выступать.

Вообще-то, ситуация была какой-то странной, но мы уже привыкли в то время бороться. Мы уже были готовы к борьбе и были фактически уже неуправляемыми, то есть профессура не могла нами управлять.

Вот я и встал и сказал, что писал записку и не отказываюсь от выступления. Начали вставать аспиранты — Зиновьев, Грушин, Кудинова, Пышков и многие другие — и заявлять, что они тоже хотят выступить. И все это создало невероятно напряженную атмосферу — Ойзерман оказался в очень трудном положении. Там было много его аспирантов, и единственное, что он мог, — это говорить им, скажем, обращаясь к Кудиновой:

— Слава Ивановна, вы ошибаетесь: вы не хотите выступать, вы хотите защищать диссертацию у нас на факультете.

— Нет, я хочу и диссертацию защищать, и выступать.

— Но две эти вещи сделать нельзя — либо выступать, либо защищать диссертацию.

— Ну, тогда — выступать.

(Надо сказать, что после этого совещания у многих «гносеологов» действительно появились проблемы. Скажем, те из них, кто был к тому времени кандидатом в члены КПСС, потом не были приняты в члены партии, многих просто отчислили из аспирантуры...)

Услышав все это, Ойзерман сказал следующее:

— Ну хорошо. Сколько вас? У нас будет еще одно заседание, на котором мы должны все закончить.

Он прикинул и сказал, что если каждому дать по восемь минут, то мы закончим на следующей неделе, а до того он еще с нами поговорит. На этом мы и разошлись.

Дальше было очень интересное совещание дома у Эвальда Васильевича Ильенкова (под Вагнера): что же делать? И многие решили выступать.

Через неделю история повторилась. Ойзерман встал и сказал, что многие из желавших выступить отказались, сняли свои фамилии. Осталось человек десять. Но, поскольку у каждого было по восемь минут, это обострило ситуацию, потому что если бы были долгие выступления, то, может быть, наше неприятие не прозвучало бы так четко, так остро. Все говорили очень жестко, и это была фактически демонстрация нежелания молодого поколения философов думать по-старому, жить в той рутине, которая сложилась.

И очень здорово подытожил все Александр Зиновьев, закончивший свое короткое пятиминутное выступление следующими словами: «Если бы Маркс был жив, он бы к своим одиннадцати тезисам<sup>20</sup> добавил двенадцатый: раньше буржуазные философы *объясняли* мир, а советские философы и *этого* не делают», чем вызвал оглушительные аплодисменты всего зала.

Наше положение на той дискуссии было довольно трудным, поскольку мы не принимали основной тезис Ильенкова и Коровикова: предмет философии — познание, а не мир. Я, скажем, на этом совещании отстаивал другой тезис: предмет философии — познание и тем самым мир, данный через познание.

Собственно говоря, если вернуться опять к вопросу о принципиальном различии между двумя группами, активно работавшими тогда на философском факультете, то оно состояло в отрицании идеи онтологии группой неогегельянцев, то есть группой Ильенкова, и в признании идеи онтологии группой Зиновьева.

Причем проявлялось это в совершенно разных аспектах. Например, если для меня — и в этом состоял смысл моих ранних работ — парадоксы, антиномии, или противоречия, принадлежали только миру нашей мысли и не могли переноситься, или проецироваться (скажем так), в мир, то для Ильенкова и для его учеников и последователей противоречия нашей мысли оказывались вместе с тем противоречиями самого объекта.

Кстати, тогда ведь и получалось, что философия, изучающая познание, включает все, но формулировали это последователи Ильенкова в странном тезисе: познание, а не мир. Серьезное обсуждение этого тезиса требует другого контекста и целого ряда различий. Я ведь касаюсь его сейчас только для того, чтобы прояснить ситуацию, или обстановку: почему нам было так трудно солидаризироваться с основными тезисами докладов Коровикова и Ильенкова.

Тем не менее мы поневоле должны были это делать, поскольку основным смыслом происходившего было столкновение между старшим поколением и молодыми преподавателями, аспирантами и студентами — молодым поколением. И собственно, именно это и выразил

Зиновьев в своем выступлении, когда говорил, что дело совсем не в тезисах того или иного рода, а в том, что молодежь не хочет, и не может, и не будет работать по-старому — она хочет мыслить *свободно*.

Я вспомнил эти философские дискуссии, чтобы подчеркнуть, что в тот момент наши связи с Давыдовым во многом определялись тем, что происходило на факультете. Он, правда, старался не принимать в этих дискуссиях прямого участия, но жил этими проблемами, обсуждал их все время с Ильенковым и другими. И так как у нас с ним возникли и развивались контакты в первую очередь на философской почве, я и привлек его как философствующего психолога к семинару по логике и методологии, который начал работать в 1955 году (это был логико-методологический семинар на философском факультете), и он сделал там несколько докладов.

Этот семинар был закрыт после очень смешного заявления его номинального руководителя Евгения Казимировича Войшвилло в партбюро факультета, членом которого он был, с просьбой рассмотреть его персональное дело и наказать за то, что он не справился со своей ролью руководителя семинара. Дело действительно рассмотрели и семинар после года существования закрыли. Надо сказать, что в то время происходили известные венгерские события<sup>21</sup>, — одно совпало с другим. Как бы то ни было, но в результате поле собственно логической, поле собственно философской работы оказалось для меня закрытым.

Я уже как-то рассказывал об очень смешном эпизоде, связанном с этим событием: после разбора работы семинара на ученом совете из моего личного дела вынули фотокарточку, увеличили, положили эту карточку размером в ладонь под стекло вахтеру (вход на философский факультет тогда был по пропускам; их, правда, никто не спрашивал, но вахтеры сидели) и приказали меня на факультет не пускать.

Вот с этого момента моя связь с психологами становится более тесной. Я предпринял две попытки создать теоретический и методологический семинар по психологии, где обсуждались бы смежные проблемы: философско-психологические, логико-методологические. Это была, во-первых, попытка создать семинар по системному подходу в психологии. Такой семинар начал свою работу у меня дома, на Соколе, и в него входили Давыдов, Гиппенрейтер, Шехтер, Матюшкин, Яромир Яноушек (который тогда учился у нас в Советском Союзе), Эрих Соловьев, Вадим Садовский, Оля Овчинникова, Тютин, Голомшток и другие.

— *Где вы тогда работали?*

— Я тогда работал в школе, преподавал психологию, логику, физику. После окончания философского факультета я сделал неудачную попытку поступить в аспирантуру, но получил «трояк»

по специальности, что было предрешено, поскольку я был предупрежден, что меня не возьмут. Тем не менее решил, что сдавать все равно буду...

Так вот, была предпринята попытка создать такой семинар по системному подходу в психологии и на этой базе сплотить психологов, логиков, философов. Мне это важно подчеркнуть, потому что это как раз был тот год, когда в Соединенных Штатах точно так же делалась попытка создать системный подход. Мы же его начали разрабатывать практически в 1952–1953 годах, и то, что происходило на совместном с психологами семинаре, было уже попыткой приложения системных идей в определенной предметной области.

— *А вы знали о параллельной работе американцев?*

— Тогда — нет. В Соединенных Штатах основателями этого направления стали Людвиг фон Бергаланфи и Анатолий Рапопорт. В 1956 году были созданы общество<sup>22</sup> и ежегодник General Systems<sup>23</sup>.

А у нас системная проблематика выростала из анализа «Капитала» и носила общеметодологический, философский характер, но, поскольку мы сейчас говорим о связях с психологией, я только о них и говорю.

— *Американцы тоже тогда предпринимали попытки приложения системного анализа в психологии?*

— Я думаю, что подобные попытки приложения были предприняты ими намного позже — лет на десять. А у нас это [было] четко оформленное направление, давно осознанное. В то время на философском факультете уже защищались диссертации (в частности, Грушина<sup>24</sup>, Мамардашвили<sup>25</sup>, была и моя работа<sup>26</sup>), специально посвященные методам системного анализа в разных науках.

Чтобы представить, что тогда обсуждалось, вы можете взять книжку Бориса Андреевича Грушина «Очерки логики исторического исследования» (это его диссертация, которая делалась им с 1952 по 1955 год). Это результат системных, методологических обсуждений всего нашего кружка.

— *Грушин и Мамардашвили входили в группу Зиновьева?*

Да. Первоначально эта группа состояла из четырех человек: Зиновьев, Грушин, я, потом Мамардашвили. Мамардашвили примкнул к нам сразу после совещания «гносеологов».

И затем, что очень интересно, была сделана попытка расширить этот семинар уже с привлечением широкого круга психологов. Тогда я завязал отношения с Яковом Александровичем Пономарёвым, и первоначально мы стали собираться на квартире его жены — Тани Розановой. Это семья очень известна в России, с очень давними традициями. Сам Яков Александрович после окончания отделения

психологии философского факультета МГУ работал экскурсоводом в «Уголке Дурова»<sup>27</sup> и рассказывал посетителям о психике слонов, мышей и крыс.

— Она и сейчас его жена?

— Нет, она потом вышла за Александра Соколова — психолога, который занимается речью и мыслью.

Итак, на этом расширенном семинаре (он, как я уже сказал, первоначально собирался на квартире у Розановой, а потом много раз



Яков Пономарёв

на квартире у Владимира Яковлевича Дымерского) обсуждалась своего рода программа построения теории психологии — такой, какой она тогда могла быть, а именно теории психического. Участниками этого семинара были Пономарёв, Давыдов, Матюшкин, Сохин, Зинченко, Шехтер, я, реже бывала Гиппенрейтер, временами приезжал из Ленинграда<sup>28</sup> Веккер. Основным материалом для обсуждения были представления Пономарёва о субъектно-объектном взаимодействии и о развитии в условиях субъектно-объектного взаимодействия, которые отражены в его книжке «Творческое мышление»<sup>29</sup>. Но, опять-таки, я сейчас не буду говорить о тематике обоих семинаров, просто надо поднять материалы, которые у меня хранятся, — записи прямо по числам: когда что

было, какие доклады и так далее, — надо только все привести в порядок. В материалах есть короткие отпечатанные тезисы, заметки по докладам.

Цель и смысл всего происходившего тогда состояли в том, чтобы собрать коллектив мыслящих психологов, которые могли бы обсуждать теоретические и методологические проблемы психологии и науки вообще, потому что в тот момент у нас в кружке шло интенсивное формирование собственно методологии. А мы представляли методологию как систему, объёмлющую специальные науки, и поэтому я в этот период рассматривал психологию как область приложения методологических идей. Согласно этим идеям и надо было строить психологию, социологию. Собственно говоря, в этом я видел смысл методологической работы, и мы уже непосредственно в нашем методологическом кружке намечали программу развития гуманитарных наук. Я, опять-таки, здесь оставляю в стороне развитие наших логических и методологических идей, всю ту борьбу, которая у нас шла по линии философского факультета, кафедры. Это надо рассказывать



отдельно, я сейчас этого не касаюсь, а рассказываю лишь о линии психологической.

— Пономарёв был учеником Рубинштейна?

— Пономарёв никогда не был учеником Рубинштейна — он вообще ничей не ученик. Пономарёв есть Пономарёв — он самобытен, он сам по себе.

Яков Пономарёв поступил на философское отделение ИФЛИ<sup>30</sup> в 1939 году. Он учился в школе за одной партией с Павлом Васильевичем Копниным, и Павел Васильевич пошел в ИФЛИ вслед за Пономарёвым и поскольку туда пошел Пономарёв. Это было очень интересное заведение, и историю его надо писать особо. Там учились вместе Нарский, Копнин, Пономарёв, Зиновьев, а также многие другие, погибшие потом в годы войны. Они в подавляющем большинстве либо ушли добровольцами на фронт, либо их взяли на фронт, и только немногие из них вернулись. Вернулись уже на философский факультет, поскольку ИФЛИ в 1942 году был расформирован и переведен на философский факультет МГУ<sup>31</sup>.

Яков Александрович попал в плен к австрийцам, и поэтому когда он вернулся, то уже не мог быть философом — его не принимали. Единственное, что ему разрешили после всех фильтраций, — это учиться на психологическом отделении. Но когда он его закончил, то не получил распределения, потому и работал экскурсоводом в «Уголке Дурова». Свою философскую точку зрения он отстаивал и развивал в отношении психологии и психики. Ничьим учеником он никогда не был, а был всегда сам по себе. Так же как и Александр Зиновьев и так же как сам по себе был Эвальд Васильевич Ильенков. Разве что только его учителями, наверное, можно считать Гегеля и Маркса.

Итак, работал такой домашний семинар, и нам все время нужна была «крыша» для публичной работы с выходом на «общую сцену», поэтому мы искали возможного руководителя и покровителя для этого семинара. И поскольку было много участников с кафедры психологии и некоторые из них (как, например, Юля Гиппенрейтер, Оля Овчинникова) были непосредственно аспирантами Алексея Николаевича Леонтьева, то они и предложили его в качестве такого руководителя.

И вот где-то в 1956 году (я сейчас уже не помню точно — думаю, что в конце 1956 года) мы отправились с Юлей Гиппенрейтер к Леонтьеву обсуждать проблему семинара. Причем я вспоминаю, как нам пришлось ходить раза три или четыре, чтобы получить хоть какой-то ответ. Он очень любил рассказывать молодым людям и молодым девушкам «за жизнь», «за психологию»... Сидели мы, как правило, до полдвенадцатого, придя часов в девять, и он рассказывал

нам всевозможные байки. Кое-что иногда нас спрашивал, в частности меня, поскольку я был новым лицом для него и он стремился, как он сам любил говорить, меня «обаять». И вообще «обаяние» для него — понятие техническое. Он рассказывал самые разные истории, рассказывал про Тейяра де Шардена, какие-то истории про самого себя, про [свой] кружок и т. п. И наконец дал свое согласие.

В итоге на философском факультете впервые собрался психологический семинар (где-то в начале 1957 года), и мы начали с обсуждения программы работ. На нескольких первых заседаниях этого семинара (а их было, наверное, четыре или пять) присутствовал Ильенков. Я предложил программу изучения — прежде всего наследия Выготского, выработки отношения к нему. Алексей Николаевич разнервничался, обозвал все глупостями, сказал, что нечего всем этим заниматься, потому что, во-первых, это никому не под силу, во-вторых, вообще несвоевременно, а надо заниматься маленькими конкретными проблемами и их, так сказать, штудировать, брать достаточно узко. А так как там собрались люди, претендовавшие в основном на теоретическую работу, и каждый из них — тот же Пономарёв или, скажем, Давыдов, Ильенков, я — думал о себе, что если он и не самый умный в мире, то, во всяком случае, способен на что-то значительное, то, естественно, установка Леонтьева сразу вошла в противоречие с чаяниями и ожиданиями остальных участников семинара.

Хотя и были сделаны первые попытки докладов, но с каждым разом ситуация все больше и больше обострялась, приобретала все более конфликтный характер. А потом Алексей Николаевич Леонтьев применил «итальянскую», что ли, тактику: он просто каждый раз говорил, что вот в этот раз он не сможет прийти, а когда мы просили у него разрешения провести семинар без него, отвечал, что без него этого делать нельзя. Таким образом, семинар сдвигался на неделю, потом еще на одну, потом еще... пока мы не поняли, что это — гиблый номер. На этом все и закончилось.

Прекратился семинар под руководством Леонтьева, хотя, повторяю, несколько докладов (порядка четырех) нам удалось сделать, и я, в частности, сделал доклад об онтологическом представлении мышления как культурно-исторического процесса. В этом докладе я использовал мысль Вильгельма Гумбольдта о том, что не человек овладевает языком, а язык овладевает человеком, и точно так же мышление: оно не порождается человеком в его голове, а «проходит» через голову человека, преобразуясь и трансформируясь в ней. И поэтому мы должны рассматривать мышление как своего рода субстанцию, которая существует сама по себе в самодвижении.



[Почитать описание, рецензии  
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

